

Надежда Нелидова
 Пыльные Музыри

Нелидова Н.

Пыльные Музыри / Н. Нелидова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966112-8

«И у нас, как на Востоке, уважают старость. Пока она на ногах. Пока возится в огороде, закатывает банки, нянчится с внуками, тратит пенсию на любимых детей. Переписывает на них квартиры, машины, гаражи. Как только старость обессилеет, сляжет и начнёт ходить под себя — сыны и дочки немедленно вспоминают, что они никакой не Восток, а совсем даже наоборот: настоящая Европа. А в Европе, извините: дети сами по себе, родители сами по себе».

Содержание

ПЫЛЬНЫЕ МУЗЫРИ	6
БАБНЮРНАДЗОР	13
ОЖЕРЕЛЬЕ ЮДИФИ	19
ОПАНЬКИ – РАЗОПАНЬКИ	24
ХЭППИ ЭНД БАБКИ АВГУСТЫ	32
БАБКОКРАТИЯ	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Пыльные Музыри

Надежда Нелидова

© Надежда Нелидова, 2019

ISBN 978-5-4496-6112-8 Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПЫЛЬНЫЕ МУЗЫРИ

«Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу».

Спасибо классику, в данном случае под взволнованными девами подразумевается женское население дома престарелых. Кто, сунувшись головой в шифоньер, лихорадочно копался в лежалых затхлых стопках одежд, ещё с мирного времени (из того, домашнего мира). Кто в панике побежал покупать с пенсии в ближнем сэконд-хэнде короткие штанишки «капри» кислотных расцветок и кофточки с американскими мультяшными мордочками – при надевании они сползали под мышки и на животы.

Да что там, даже персонал подтянулся, даже одинокие врачихи в возрасте: одёрнули халаты, сделали выговор сестре-хозяйке за плохую глажку и не простиранное пятно. С хрустом развернули артрозные плечи, выпятили увядшие груди: рано списывать, ещё хоть куда. Сковырнули с опухших ног тапки, вытащили из-под кушеток пыльные туфли.

В дом престарелых поступил новый жилец. Мужчина. Потёртые голубые джинсы, под кашемировым пиджаком – жилет красивой ручной вязки. Полосатый шарф трижды обвёрнут вокруг шеи. Сам выкатил из такси великолепный клетчатый чемодан на колёсиках. Высок, худощав, крепко надушен. Уцелевшие серебряные пряди хорошо промыты и тщательно расчёсаны, ходит, опираясь на трость.

Официантке сказал: «Голубушка» – чем завоевал её вечное расположение и добавочную котлетку на обед. Попросил себе отдельную тарелочку, на ней мятой алюминиевой ложкой делил хлебную котлетку на микроскопические кусочки и изящно отправлял в рот, осторожно жевал вставными зубами. Ах, какой!

Ольга Сергеевна, как ни хотелось самой себе в том признаться, тоже поддалась всеобщему переполоху и произвела некоторые действия. По утрам возобновила зарядку, вечерами подолгу дефилировала по аллейке, в тайной надежде встретить благородного старика.

Внеурочно постриглась и подкрасилась в парикмахерской. Парикмахерша предлагала ещё татуировать брови и стрелки у глаз, но Ольга Сергеевна вовремя опомнилась.

А что вы хотите: весна, весна! Кастрированный кот, любимец Ольги Сергеевны (иметь животных в доме престарелых категорически запрещалось, но жилички их упрямо подбирали и прятали, при покрывании младшим персоналом), – и тот чрезвычайно активизировался. До семи раз в день истово любил и терзал её старую шерстяную кофточку.

Ольга Сергеевна имела право рассчитывать на взаимность со стороны аристократического старика.

Истинное лицо человека, как известно, определяет старость. В 20 лет у женщины лицо, какое дал господь Бог. В 30 — какое сделала сама. А после 50 — какое заслужила. Так вот, у какой-нибудь старухи проступит рыло — не приведи Бог. А у другой бабушки разольются по личику умильные морщинки-лучики, омоют и разгладят их внутренние тепло, свет и доброта. Ольга Сергеевна была из последних.

Она не озлобилась на мир и на людей, хотя всю жизнь прожила одна. В последние годы к ней приходила по графику социальная работница, сначала два раза в неделю, потом три.

Кроткая, приветливо всем кивающая сиреневой одуванчиковой головой, Ольга Сергеевна едва не отправила на воздух родной девятиэтажный дом, в очередной раз забыв зажечь газ под чайником. У соседей, несмотря на всю симпатию и жалость к старушке, лопнуло терпение. Правдами и неправдами её признали недееспособной и общественно опасной, и отправили в дом престарелых.

Оленька «рвалась и плакала сначала». Диким и противоестественным казалось жить в одной палате с пятью чужими женщинами. Со своими вековыми привычками, дурными настроениями, едкими обидами на родню, с болячками, храпом и прочими испусканиями

физиологических звуков и запахов. Дикостью казалось питаться в огромной мрачной гулкой столовой, куда разве что строем по сигналу не водили.

Душ и туалет находились в конце коридора, кабинки без шпингалетов. Старушкам приходилось проявлять чудеса акробатизма. Одной ручкой ловко держали спущенные штаны, другой вцеплялись в дверь, чтобы никто не вошёл – всё это в позе роденовского мыслителя. При этом периодически не забывали попискивать: «Занято!»

Будто их, восьмидесятилетних, вернули и заперли в пионерском лагере. Но из пионерского лагеря можно вернуться в прежнюю жизнь, а тут возвращаться некуда – разве что на тот свет. И в пионерском лагере не было высокого забора и охраны с вертушкой.

Ольгу Сергеевну невзлюбили соседки. За то, что «воображает о себе, фу-ты, ну-ты, было бы ково воображать, там воображать-то неково, ни кожи ни рожи, прости Господи». За то, что во время сплетен тихонько поднимается и выходит из комнаты. За то, что читает книжки и мечтает, «интилиг-енка». За гимнастику, за модную короткую стрижку и кукольный цвет волос, наконец.

Ольга Сергеевна честно пыталась наладить с соседками контакт, но смертельно скучны были одни и те же разговоры: кто как сходил с утра – колбаской али послабило, али, наоборот, заперло, нужно черносливу покушать.

...Итак, они станут гулять с серебряным стариком в аллейке, шаркая ногами в прелой листве, церемонно поддерживая друг друга под локоток. На пятничных и субботних вечерах, под баян одноглазого горбуна Бориса, старик будет вальсировать только с Ольгой Сергеевной. Ну ладно, так и быть: под конец она позволит пригласить какую-нибудь подружку. Самую страшненькую.

Ничему не научила жизнь доверчивую Оленьку. Позволила ей размечтаться, расфантазироваться, рассиропиться – и в очередной раз пребольно и обидно щёлкнула по носу, как девчонку. Как подружка в детстве: «Хочешь конфетку? Открой рот!» Простодушная Оленька с готовностью открывала («Шире! Ещё шире!»). И с демоническим хохотом всовывала туда какую-нибудь гадость, вроде извивающегося дождевого червяка или одуванчика.

Всё окончилось, не начавшись. За благородным стариком прислали низкий, длинный блестящий автомобиль и увезли – навсегда. Оказывается, его помещали сюда на передержку, временно, пока сын собирался на ПМЖ за границу. Он брал отца с собой – может, на Мальдивы, а может, на Сейшелы.

Чудное мимолётное видение мелькнуло и растаяло, как сон, как утренний туман. Ольгу Сергеевну пинком из ей грёз вышибло обратно в серую домопрестареловскую беспросветность. Ах, как это было больно, больно!

... – Сергевна! Разговор есть.

Она сидела на скамеечке, терзала на коленках носовой платочек и растравляла себя. Совсем некстати присел рядом одноглазый горбун Борис – местный Квазимодо: ещё одно наглядное напоминание об унизительности её пребывания здесь.

Левый глаз у него как будто собирался давно стечь, но на полдороге передумал и застыл, и помутнел, как куриный белок, спрятался под припухшей складочкой века. Небольшой конусовидный горб-холмик поддёргивал левое плечо и перекашивал пиджак.

К пиджаку на рукаве присохло что-то давнее, желтоватое, и вообще от баяниста пахло неопрятным телом. И весь он был неухоженный, суетливый, метр с кепкой. Таких в народе называют шибздиками, шпендриками и шмакодявками. Всё на букву «ш».

Но интеллигентность и природная приветливость возобладали. Ольга Сергеевна, промокнув глаза платком, вздохнула и воспитанно, в нос произнесла:

– Я слушаю вас, Борис Ильич.

Приободрившийся баянист кашлянул и начал посвящать Ольгу Сергеевну в свой план. Сначала заставивший её вздрогнуть, покраснеть и глубоко возмутиться, затем глубоко задуматься, а затем благосклонно обещать дать ответ через неделю.

Дело в том, что в доме престарелых старичкам, решившим образовать семейную пару, давали отдельную комнату. Жить вдвоём, ежу понятно, лучше, чем вшестером. А что сосед противоположного пола — так, ёшкин кот, к восьмидесяти годам пол размывается, стирается и становится средним. Можно ширмочку поставить. Тем более Борис знал о себе, что в качестве мужчины его давно не рассматривали.

Вот он и придумал план: разыграть влюблённую пару, расписаться (фиктивно, понарошку!) и поселиться отдельно. Пусть Сергевна не думает: он не пьёт, не курит, не зануда. А так он давно к ней приглядывался и выделял из всех: женщина грамотная, справная, чистая, не склочная.

- Одно условие, Борис Ильич: чтобы никаких гнусных поползновений с ваших стороны. Вы понимаете, о чём я. Будем соблюдать дистанцию. Да и следует вначале присмотреться: уживёмся ли вместе? Покладисты ли мы оба?
- Такое дело, Сергевна, кашлянул баянист. Некогда присматриваться-то. На днях освободилась 116-я, зыряновская комната, царствие небесное Зырянычу. Комнатка на южную сторону, после ремонта свеженькая, чистая как яичко. Санузел, кухонька милое дело. Ковать железо нужно, пока горячо. Пока Роза (он имел в виду директрису дома престарелых Розу Семёновну) по командировкам кантуется. А завхоз, мой корешок, со 116-й комнаткой посодействует.

Борис Ильич не напрасно беспокоился. Директриса Роза Семёновна физически не выносила, когда в её заведении женились старики. До того багровела и горячилась, аж начинала заикаться. Молотила ладонью по столешнице:

 – Моду взяли! Берутся ниоткуда, понимаешь, эти пыльные музыри, то есть я имею в виду, мыльные пузыри! Наду-уются на ровном месте. Всё равно ведь не сегодня-завтра пшик – и мокрое место. А туда же.

На регистрацию в загс молодые явились без гостей. По собственной инициативе притащилась только слюнявая имбецилка Нюша, по этому случаю нацепившая на седые волосы красный бантик.

Подружки Ольги Сергеевны как одна отказались, поджали губки, сослались на самочувствие. Соседки по комнате, те вообще плюнули и обозвали Ольгу Сергеевну «проституткой».

Так всегда бывает: валялась под ногами неказистая вещь (имеется в виду Борис Ильич): никому не нужная, никто не замечал. Но стоит кому-то нагнуться и подобрать — тут же вещь заиграет, начинает казаться недосягаемой и прекрасной. Тем более, невеста жениха отпарила, отмыла, одела — все ахнули: мужик-то орёл! Орлина!

Ольга Сергеевна хотела отметить событие пирожными и какао в кафе, но Борис Ильич отговорил.

— Я в той кафешке на баяне играл, знакома мне ихняя кухня. Знаете, как работники кафе между собой называют посетителей? Падальщики. А вот лучше купим хорошего винца да пойдём на рынок, да выберем молодой говядинки. Я котлеток нажарю — пальчики оближете.

И они действительно купили мяса, и Борис Ильич наготовил паровых котлет, каких Ольга Сергеевна в жизни не едала.

И стали фиктивные молодые жить да поживать. Скоро Ольга Сергеевна приметила, что за ширмой на стороне Бориса Ильича ночь напролёт горит настольная лампочка и шуршит газета. А днём он клюёт носом и норовит свернуться калачиком и покемарить. Тогда как следовало «поддерживать фикцию»: появляться чаще вместе в людных местах. После допроса с пристрастием Борис Ильич признался, что стесняется обеспокоить соседку каким-нибудь

неконтролируемым во сне поведением. «Иногда непроизвольно матерок во сне проскакивает, извините, Ольга Сергевна».

Ольга Сергеевна возмутилась и напала на бедного Бориса Ильича: выходит, сам-то он подслушивает её сонные чмоканья, похрапывания, и разные ики и пуки, это нечестно! Но в глубине души оценила его деликатность и стыдливость.

 Если вы меня уважаете, Борис Ильич, немедленно извольте прекратить ваши ночные бдения.

Борис оказался не только тактичным, но вполне уживчивым, неконфликтным, юморным дядькой. Смешил разными шуточками, так что первое время Ольга Сергеевна не переставая тряслась, прыскала и хихикала в кулачок. В аптеке мог промаршировать вдоль витрин и лихо пропеть на мотив «Дан приказ ему на запад»:

... – И, взглянув на новый ценник,

Пожелала всей душой:

Если смерти, то мгновенной,

Если хвори – небольшой.

Сколько они уже жили – ни разу не ссорились. Не назовёшь же ссорами лёгкие перепалки, вспыхивающие по пустякам и тут же гаснущие. Это когда Ольга Сергеевна, допустим, восхищалась летним закатом, а он парировал: «Что закат, Сергевна? Мазня, дешёвка, грубая акварель. То ли дело ночное чёрное небо! Глубина, Тайна, могущество Создателя!»

И декламировал, завывал, махая руками и пугая старушек на скамейках:

- Открылась бездна звёзд полна.

Звездам числа нет, бездне – дна!

- Оставьте, Борис Ильич. Космос, хаотичные сгустки элементов таблицы Менделеева, холод, смерть. Бр-р. Ледяная пустыня, уныние, ощущение себя ничтожеством, песчинкой. Совершенно ни о чём.
- Напротив, Ольга Сергевна! В той песчинке вся Вселенная умещается. Ибо сказано: человек есть Вселенная. Причастность к великому, божественное предначертание. Дух захватывает!

Это разве ссоры? Это и не ссоры вовсе.

Оба любили гулять. В одну из прогулок Борис посвятил Ольгу Сергеевну в свою горькую историю, которых в каждом доме престарелых – полна коробочка.

Жил, работал технологом на химическом производстве. При аварии ослеп на один глаз и получил травму позвоночника. Вышел на пенсию, научился зажигательно играть на баяне и подрабатывал (башлял) в кафе. Платили хорошо, плюс щедрые чаевые, плюс пенсия. Семья с коммуналки расширилась до двушки, потом купили трёшку.

Жена умерла, дети выросли и разлетелись. Только любимый внук остался. Хороший мальчик: не пьёт, не колется, не курит травку. Очень хороший, отличный мальчик по нынешним временам. Будет на старости лет покоить деда. Борис Ильич решил на него переписать квартиру. В отделе приватизации отговаривали: обратного хода не будет. Сколько случаев, когда старики потом локти кусают, слезами умываются.

Так и вышло. Внук получил зеленоватую гербовую бумагу и помахал ею под носом у деда: «А квартирка-то теперь моя, дед». И так нехорошо, загадочно ухмыльнулся, что у Бориса Ильича засосало под ложечкой.

Внук привёл жену, родились правнуки. Правнуки проходу не давали, «расстреливали» деда из игрушечных автоматов. Дразнили: «Борис – тракторист, председатель дохлых крыс!»

Его выселили в коридорчик за ширму. Сноха однажды толкнула так, что сломала руку. Участковый уговорил составить исковое заявление. Но едва рука начала заживать, первое, что сделал Борис Ильич: немеющими пальцами написал отказ от возбуждения уголовного дела. Не по-людски это, не по-божески: с родной кровью судиться.

Ну, что. Чем так, лучше никак. Лучше дом престарелых. Ольга Сергеевна нагнулась (она была выше Бориса Ильича) и поцеловала фиктивного супруга в плешивую голову. А он, тянясь на цыпочках, тычась, благодарно мокрыми щеками извозил лицо Ольги Сергеевны. И оба неловко, стыдясь, искали сморщенными губами друг друга.

- Боринька мой!
- Олюшка!
- «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» пищала из кустов имбецилка Нюша.

Оба вошли в тот возраст, когда природа: солнце и облака, ветер, снегопад – стали гораздо интереснее самого захватывающего фильма по телевизору.

Обсудили этот факт и поняли: ой как мало отпущено человеку времени наблюдать чудо божие: небо, солнышко, траву. Только к цыплячьей старости начинаешь это понимать и спешишь использовать каждую минутку. Жмурясь, греешься в мяконьких байковых лучах солнышка, пощёлкиваешь клювиком, томно тянешь лапки, как разомлевший цыплёнок.

Когда зарядили колючие осенние дожди, сидели дома. Уютно пахло Борисовыми котлетками, кот на коленях хозяйки растекался и свисал на пять сторон лапами и пушистым хвостом. Смотрели телевизор, преимущественно советские передачи и фильмы. Вставляли разные умные замечания и комментарии.

Вон «Блондинку за углом» давеча показывали. Там бывшая учительница (артистка Ханаева) весь фильм орёт как резаная, потому что будто бы сорваны связки. Так никчёмная это учительница, единица, «неуд» этой учительнице за непрофессионализм.

Вот Ольга Сергеевна всю жизнь в школе проработала и умела держать железную дисциплину. Ни разу голос не повысила, а ребятки её слушались, в рот смотрели, муха пролетит — слышно было. До сих пор каждые 1 сентября и 8 марта приходят в дом престарелых, приносят тортик и цветы любимой учительнице. А вы говорите.

- Какая ты у меня славная, талантливая, Оленька!

Вообще, щемило сердце, светло и грустно было наблюдать в какой-нибудь передаче «Вокруг смеха» залы с плохо, одинаково, серо одетой советской публикой. А лица были хорошие, славные, простые и наивные. Люди доверчиво смотрели на сцену, смеялись и хлопали – такой сплошной большой ребёнок.

Вообразить в страшном сне не могли, что ждёт впереди. Но так же восторженно и наивно слушали человека с родимым пятном на лбу, и били в ладоши. И, нетерпеливо подняв лица и зачарованно распахнув глаза, ждали: сейчас, вот сейчас развернут нарядную блестящую коробочку, а там — aп! — чистенький готовенький коммунистический капитализм, как в Швешии.

Но никто шведский капитализм на блюдечке преподносить не собирался, а как раз наоборот — из красивых обёрток скалил зубы дикий чёрный, чёрный капитализм. Это было безбожно и бессовестно — так обидеть большого доверчивого ребёнка. Как заманить в джунгли и бросить на растерзание хищникам.

– Какой вы умница, Борис Ильич! Вам бы депутатом баллотироваться.

Директриса Роза Семёновна держала персонал дома престарелых в ежовых рукавицах. На его (персонала) лицах навсегда приклеилось зависимое, просительное выражение: «Ну пожалуйста, ну Розочка Семёновна, дайте нам взаймы!» А в её глазах читалось жёсткое ответное: «Не лам! Отзыньте!»

Она шла по коридору, и её ноздрей коснулся дразнящий, раздражающий, совершенно возмутительный, неуместный, чуждый и противоречащий устоям дома престарелых, запах нежных сочных домашних котлет.

От котлетного запаха текли слюнки, он смело и юно перебивал въевшиеся запахи хлорки, кислой капусты, мочи и дешёвого освежителя воздуха. Он мог вызвать у обитателей дома престарелых совершенно нежелательные и непредсказуемые ассоциации: с домашним уютом, теплом, с прежней жизнью и, страшно подумать, с семейным счастьем.

Крамольный запах доносился из 116-й, бывшей зыряновской.

Под ноги Розе Семёновне, мявкнув, метнулся пушистый круглый, как мячик, кот. Она его раздражённо поддела остриём туфли, швырнула в угол – тот взревел дурным голосом и стрелой унёсся, пропал в лабиринтах коридоров.

Роза Семёновна вернулась в кабинет в дурном расположении духа, велела принести всю отчётную документацию за период своей долгой отлучки. Просмотрела, швырнула папку. Вызвала ближайшее окружение, устроила разбор полётов.

- Это что у нас опять за пыльные музыри всплыли, то есть, конечно, я имею в виду мыльные пузыри, а?! Я для того 116-ю ремонтировала, чтобы эта сладкая парочка в ней своё личное счастье устраивала?! Кто позволил? У меня вип-клиент на подходе, а 116-я, видите ли, занята!
- Но что делать, Роза Семёновна? Переселить некуда, всё забито, дом не резиновый...
 Не разведёшь ведь, печати в паспортах стоят.
- Заныли. Раньше соображать нужно было. Сейчас остаётся действовать. Родственники вип-клиента поджимают.

Роза Семёновна перевела взгляд на главную медсестру. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, впившись зрачок в зрачок, как тяжеловесы, единоборцы сумо.

- Кого, Роза Семёновна?
- А то не знаете, раздражённо прикрикнула. Дюймовочка вы наша. Нечего глазками хлопать, целку из себя строить. Не мне учить. Немного остыв, рассуждала: Без баяниста нам никуда. Без музыкального сопровождения танцульки и концерты самодеятельности не оставишь. Соображайте. Ищите, что у неё? Сердце, давление, сахар? Ступайте, и бог и медкарта вам в помощь.

Завхоза задержала в дверях:

– Всех котов-нелегалов немедленно изловить и усыпить. Развели тут без меня антисанитарию.

Кабинет опустел. Роза Семёновна в задумчивости пощёлкала тяжёлым перстнем по телефонному аппарату. А не отправить ли любвеобильную старушку на обследование в областной диспансер, где специализируются на Альцгеймера? Естественно, обследование затянется, выявятся проблемы... Тем более, у тамошней главврачихи имеется давний должок перед Розой Семёновной. Тоже вот так возник вопрос по неудобному старичку в щекотливой ситуации.

Правда, дурында медсестра что-то лепетала о слабеньком сердце сиреневой старушки: выдержит ли переезд, разлуку и прочие стариковские сиропные сопли-вопли... Ну да, все под Богом ходим, от судьбы не уйдёшь.

Ольга Сергеевна сидела на облаке в обнимку с котом, болтая ножками, и любовалась закатом цвета спелой облепихи. И не было рядом Бориса Ильича, чтобы сказать, что закат – это мазня и акварелька... Но ей не было грустно. Всё казалось новым, удивительным, по-детски любопытным. Она летела так стремительно, что захватывало дух.

Оседлав соседнее облачко, управляя им тростью, лихо пронёсся старик с развевающимися по ветру серебряными прядями. Ольга Сергеевна приветливо покивала ему, как старому знакомому.

А может, это был другой старик. А тот, серебряный, не пришёлся ко двору на Сейшелах, и его с его великолепным чемоданом вернули в опустевшую 116-ю. Ольга Сергеевна об этом никогда не узнала. Она устроилась удобнее в мягком облаке, которое тут же податливо, с готовностью приняло под ней форму кресла-качалки.

Лететь предстояло приятно и долго. Куда, она не знала, но что путешествие предстояло приятное и долгое – это точно.

БАБНЮРНАДЗОР

Из-за своей вопиющей рассеянности я вечно попадаю в неприятные истории. В последний раз «влипла» в бутике.

Они обозвали себя «Бутик "Женское счастье"» — а на самом-то деле это была одна из сотен крошечных стеклянных, мертвенно освещённых синим светом коморок в ЦУМе. В душной коморке продавались дешёвые сумки из Китая, под пышными европейскими брендами.

Сумки теснились в витрине и на полках, задевали головы, гроздьями свешиваясь с контейнеров и крючьев, горами были навалены на полу. Чтобы извлечь приглянувшуюся вещь, приходилось пробираться по узеньким тропинкам и расшвыривать, раскапывать горы разномастных изделий из кожзаменителя.

Я повесила свою потрёпанную сумку на плечо и по локоть погрузила обе руки в благоухающее едким клеем женское счастье от Диора, Гуччи и Версаче. Вроде этот рюкзачок ничего... И тот тоже. «Женщина, вы там ближе, передайте ридикюль». Чтобы не потерять в сумочных авгиевых конюшнях будущие покупки, я повесила их на локоть и протянула даме искомый ридикюль.

Некстати зазвонил телефон. Я, как воспитанный человек, не могу на людях громко обсуждать личные дела. Полушёпотом разговаривая и жестикулируя, машинально направилась к выходу... Цоп! Две скучающие продавщицы встрепенулись, подлетели, подхватили меня под белы рученьки.

– Нет, Валь, смотри, как изощряются воришки! Ноу-хау! Прижала локтём сумки, как будто по телефону разговаривает – и пошла, и пошла. Вся из себя деловая. А на вид приличная женщина!

Плохо то, что я с приглянувшимися рюкзачками успела шагнуть за стеклянный периметр. То есть была застукана на выносе товара с корыстной целью. Имея злой умысел. Пытаясь осуществить противоправное действие. Намереваясь обогатиться противозаконным способом. На краже, одним словом – и о том красноречиво свидетельствовали видеокамеры, засёкшие меня с трёх ракурсов.

От меня шарахались добросовестные покупательницы. Дети взирали с ужасом, как на чудище из мультика.

- ... Я всё видела. Вы не нарочно. Эти торгаши обнаглели. Они опорочили подозрением ваше честное имя. Нанесли моральный вред. Нужно их привлечь, на улице меня догнала запыхавшаяся дама с ридикюлем. Вам поможет только бабНюра. Вот адрес. Идите прямо сейчас, пока не перегорело.
- А ничего, что без звонка, без предварительной договорённости? я вертела самодельный, из грубого картона, квадратик-визитку. Да и поздно. Наверно, она уже спит бабушка всё-таки...
- У неё бессонница, принимает практически круглосуточно. В общем, увидите всё поймёте.

Я и сама могу прекрасно постоять за себя. Но о Бабнюре слышала давно: вот и прекрасный повод познакомиться. Тем более жила она, как выяснилось, недалеко от меня.

Блочная хрущёвка, пятый этаж без лифта. В подъезде крепкая железная дверь с кодовым замком. Внутри бедненько, старенько, но чистенько. Вкусно пахнет свежей краской и мелом, лестницы и площадки влажные, только помытые.

Навстречу спускалась задумчивая женщина со свёртком под мышкой. Из свёртка капало, и пахло рыбой.

– Будьте добры, не захлопывайте! – за мной юркнул дедуля, пыхтя и стуча палкой, карабкался вслед на пятый этаж. «Вы к бабНюре? Я за вами». Уже интересно.

Нажала на кнопку квартиры №33. «Не звоните, у неё открыто», – старичок меня таки догнал. Стоял, перегнувшись через перила, отпыхивался. В прихожей сразу рухнул на обитый дерматином диванчик, обмахиваясь кипой скреплённых бумажек. «Уф! Сегодня немного народу».

На стенах прихожей висели разные просветительские диаграммы и графики, как в больнице. На одной схеме красовался гигантский пельмень в разрезе, примерно в масштабе 1:10. От него во все стороны расходились стрелочки-указатели: вес пельменя, размеры защипов по ТУ, толщина тестяной оболочки, процентное соотношение фарша и теста, состав начинки...

Рядом на стенде висели распяленные мужские носки в трёх стадиях изношенности: новые, ещё с этикеткой; протёртые до прозрачности на пятке; дырявые... Надеюсь, постиранные. Под носками краткая памятка: что-то о вплетении синтетических волокон для прочности чулочно-носочного изделия.

Старичок заметил мой интерес:

– Бабнюра проверяла носкость эмпирическим методом. Надевала пяткой кверху (!) и носила три месяца – сносу не знали. Чего *они* делают-то: нарочно пятку вывязывают из гнилых ниток! Ах, черти! – дедок восторженно застучал палкой. – Разок наденешь – дырка! А их, носки-то, мильёнами выпускают. Вот и считайте. Чулочно-носочная мафия в действии.

Моё внимание привлекал карикатура, вырезанная из газеты. Два господина в костюмах, с торчащими и вываливающимися из кармана купюрами – деловито стряпали что-то клубах пара у плиты. Один другому говорит: «Не выбрасывай негодные продукты на помойку – у нас для этого есть население».

Грустно всё это.

Из кухни доносился возбуждённый женский голос:

— Говорю специалистам: «Так и так. Жарю фарш — половина воды. Половина! Подскажите, говорю, как на мясников в суд подать». А специалисты от компьютеров не отрываются, лениво так: «Уже подавали, и не раз. Ни одного выигранного дела. И вам не советуем: только на судебные издержки потратитесь». И ещё говорят: «А не боитесь встречного иска за распространение клеветнической информации?».

Я заглянула в кухню, больше похожую на лабораторию. Только вместо штативов, реторт и колб повсюду: на столах, подоконнике и даже на полу – теснились блюдечки, стаканы, миски, дуршлаги, ситечки, тёрки. Как будто всю посуду повынимали из шкафов.

В посудках виднелось что-то скукожившееся и потрескавшееся, что-то прокисшее, поросшее мохнатой чёрной шёрсткой плесени. На плите яростно плевалась жиром сковорода. Рядом булькала, кипела кастрюлька, в ней выпаривалось бурое месиво, источая запах старого грязного белья.

- Слышите? Слышите?! волновалась посетительница, водя носом: Я им говорю: испорчено а они: «Экспертиза платная». И называют сумму несусветную. А у меня пенсия.
 - А, как вам?! Лаборатория Пенсионерского! гордо подмигнул дедок.

За кухонным столом восседала высокая суровая старуха в сдвинутых на кончик носа, как у Познера, очках. С важным сосредоточенным видом, тоже как у Познера, капала чёрную жидкость в блюдечко с мёд. Мёд на глазах синел.

Старуха удовлетворённо кивнула и записала что-то на бумажке.

Иван Савельич! – крикнула она старику в прихожую. – Принесли копии сертификатов?
 Бегло просмотрела, присовокупила к таким же бумагам в разбухшую папку. Со мной разобралась быстро: «Пустяковый случай». Сунула визитку с телефоном бесплатного юриста:

– Старательный мальчик, колясочник. За своих, льготников, горой стоит. Как раз защищает диплом, что-то о пищевом и торговом хаосе в эпоху дикого капитализма.

А дальше я осталась из любопытства, села незамеченная в уголок, чтобы не мешать.

То и дело хлопала входная дверь. Посетители вынимали из сумок... Чего только они ни вынимали! Продукты, требующие сложного исследования бабНюра откладывала и назначала время для получения результата анализа, записывала в журнал. Простейшие тесты проводила тут же, на глазах у изумлённой публики.

Стучала по крупному румяному яблоку костяшками пальцев.

– Слышь, звук гулкий, как в бочонок? Пустое внутри, с гнилой сердцевиной. Какие свежие яблоки в мае?! Мало что на этикетке напишут, а ты верь больше. У свежего яблочка стукоток глуховатый, крепкий, тугой.

Капала йод в сметану, творог и томатную пасту. Распускала сливочное масло в горячей воды и «гадала» на масляной гуще. Сыпала муку в уксус и наблюдала реакцию. Обвёртывала мясо в салфетку. Макала в мёд кусочки хлеба и остриё химического карандаша. Плавила в блинной сковородке сыр. Поджигала спиртосодержащую жидкость.

- Не отравлюсь ли? волновался, по-девичьи рдел розовыми скулами испитой мужик.
- Не отравишься, пирожочек мой. Вишь, проволоку раскалила, опустила почти не пахнет. Горит синим огнём. Был бы метиловый вонял чёрти чем и зеленью отдавал... А ты бы, Николай, бросал лосьоны-то пить. Румянец у тебя нехороший, лихорадочный. Сам сгоришь внутренним огнём.

Иногда Бабнюра снисходила, объясняла свои действия:

– Во-от, пирожочки мои... Видите, облила водкой колбасный срез? Покраснело – смело выбрасывайте: подделка.

Поматывала-покачивала молоко в узком стакане, внимательно рассматривая на свет потёки на стенках стакана. Проводила органолептический контроль творога: обнюхивала, пришлёпывая губами, обминала языком рассыпчатые творожные крупинки. Комментировала вдумчиво:

– Ощущение плёнки на языке... Будто свечку во рту подержала. Мылкий привкус... – и выносила безапелляционный вердикт: – Трансжир.

Древней старушке, которую под руки довели до стульчика, Бабнюра крикнула в ухо:

- Прокопьевна, пирожочек мой, я ж тебе толковала: яйца кидай в воду, в солёную. Всплывут лежалые. Потонут свежие.
- Да не вижу ничего, слепая, шамкала Прокопьевна. На рынке божились: утрешни, мол, тёпленьки, тока из-под куры.

Диетические утренние яйца весело бултыхались в воде, постукивали друг о дружку и ни в какую не хотели опускаться на дно.

К полуночи поток посетителей иссяк. Остались три женщины, да старичок Савельич цвёл среди нас – как алая роза среди крапивы. Я, одной ногой, сбегала на угол в лавочку на углу. Купила хорошего зелёного чаю, шоколадных конфет. Бабнюра аккуратно убрала своё лабораторное хозяйство, прикрыла приборы и реактивы чистой тряпицей.

 Чего хотела-то, Лиса Патрикеевна? Вижу ведь, егоза: хвостом метёшь. Какого лешего в газету? Ничего не скажу – хоть режь.

Она зачерпнула щепотку чая, присмотрелась, растёрла в пальцах. Заварила, бросила в чашку ломтик лимона, испытующе посмотрела на свет. Одобрительно кивнула. Потом, прищурившись, причмокивая, важно перекатывала конфету во рту.

Чайный лист хорош, свеж, первого сбора, верхушечный. Без мусора, без краски. Вишь, посветлел от лимона. А с конфетами не угадала, – она выплюнула в обёртку сладкий коричневый комочек. – Вот что я скажу, пирожочки мои: не шоколад это – не тает. Подделка голимая.

Даже в свободное время в Бабнюре не дремал строгий контролёр.

- Вон, тоже читала в газете, встряла одна женщина. Про конфеты-то. Пишут, те берите, эти не берите.
- Верь им больно, газетам. Там какой производчик больше заплатит тот и хорош. Враньё всё.
- А кошка ещё есть, эксперт. Какую-то сметану лакает за уши не оттащишь, от другой шерсть дыбом и бежит. Кошку не обманешь.
 - Кошке капнешь валерьянкой она уксус вылакает.
- Вон у нас какие беседы грамотные, научные, разумные, простодушно радовался Савельич. Вот она какая, наша лаборатория Пенсионерского! Это ещё вроде клуба по интересам. Раньше друг дружку не знали, кто напротив живёт. Теперь в микрорайоне все перезнакомились, передружились. Культурные мероприятия проворачиваем: в хоре поём, в парке гимнастику под баян делаем.

А про Бабнюру я всё-таки выудила необходимые сведения у словоохотливой соседки на скамейке у подъезда. До пенсии та служила контролёром ОТК на секретном заводе. Не удивительно, что характер к общительности не располагал. Одна растила сынка: хороший парень, умница, студент.

А тут вернулся из армии друг, одноклассник, прямо с поезда. Решили компанией отметить в общежитии. Поздно, магазины уже закрыты. Да и «водку пить не комильфо», сказал ктото из компании. Купили у таксиста дорогое виски в красивых чёрных бутылках, с золотыми этикетками.

Семерых увезли в реанимацию. Четверых откачали, трое ослепли, а сынок умер в «скорой» – не довезли. Главное, он до того в рот не брал. Дембель его подначивал: «Мужик ты или кто?»

Нюра похоронила сына и запила: страшно, до черноты, до безобразия, как только женщины пьют. Однажды валялась у подъезда под этой самой скамьёй, а рядом с мамой идёт белокурая девчушка лет четырёх. Остановилась и стишок нараспев читает: «Тётя спит, она устала, ну и я иглать не стала!». Сынок этот стишок в детстве с табуреточки гостям читал.

Никто не видел, а Нюра, подняв косматую голову, видела: благолепное сияние от крохи исходило, плавало вокруг полупрозрачным розовым облачком. И махонькие стрекозиные крылышки трепетали.

Может, в алкогольном угаре померещилось. Может, то кисейное розовое платьице топорщилось, а крылышки на рукавчиках ветром подняло. Но Нюра видела: ангел, ангел, какими их на картинках рисуют! Сынок с того света мамке пальчиком погрозил.

Подняла скрюченные пальцы с чёрными сбитыми ногтями, неумело обмахнула себя трясущимся крестом: «Осподи, осподи», – хотя никогда в Бога не верила.

Отмокала в ванне сутки. Два дня выносила из квартиры хлам и пустые бутылки. Месяц отбивалась от собутыльников-алкашей, спускала их с лестницы. Привела себя, более-менее, в божеский вид, пошла и записалась на компьютерные курсы в районную библиотеку.

Первое, что натыкала пальцем: отравлением метилом. Программа тут же выдала ссылки на «пищевой фальсификат»...

А ту белокурую девочку Бабнюра встретила в магазине. Кроха канючила: «Хочу-у». Молодая мать, не глядя, равнодушно брала и швыряла в корзину сладости в блестящих ярких бумажках, прозрачные коробочки с пирожными, хрустящие пакеты ядовитых расцветок.

- У Бабнюры больно сжалось сердце.
- Что ж вы, мамаша, своё дитя травите?
- Да какое ваше дело?!

Вышли с дочкой, сели на лавочку на припёке. И малышка с довольной замурзанной рожицей лижет мороженку. Бабнюра как бы нечаянно подсела рядом.

- Хочешь, детонька, фокус покажу?
- Опять вы?! Что, полицию вызвать? Отстаньте, сумасшедшая старуха! Совсем чокнулись со своим здоровым питанием.
 - Мама, хочу фокус!

А Бабнюра торопится:

Вот бабе на ладошку кусочек своей мороженки положи – и на солнышко. Если мороженка из молока – лужица будет беленькая.

Вместо молока образовалась мутная белёсая жижица с хлопьями. Бабнюра брезгливо стряхнула её в урну, вытерла липкую руку платком.

- А что это значит?
- А значит, пирожочек мой, мамка тебе бяку купила...
- Странно, молодая женщина вертела в руках обёртку, написано: 100 процентов цельного молока...
 - А вы больше доверяйте что написано.

В тот же вечер молодая мать поднялась в тридцать третью квартиру, смущённая:

- Бабнюра, а вот детский кефирчик, дочка его обожает. Проверьте, не подделка?

На железной двери висел листок. «Вход в квартиру №33 запрещён... Незаконная предпринимательская деятельность... Нецелевое использование жилой площади... Нарушение норм общежития, режима проживания... Пожарная безопасность... Сигналы соседей... Противозаконное нахождение подозрительных лиц, не проживающих в подъезде... Антитеррористические мероприятия...» Подпись: Управляющая Компания.

Снизу шрифтом помельче: «В случае неповиновения объявить общественное порицание на общем собрании жильцов. Выселить через суд...». Я дописала карандашиком: «И за еретичество подвергнуть сжиганию на костре».

Размышляя о возможной связи Бабнюры с террористами, поднялась на пятый этаж. Заперто, за дверью мёртвая тишина, на звонок никто не ответил. «Прикрыли лавочку!» – через натянутую цепочку торжествующе сообщил хрящеватый носик – и соседская дверь захлопнулась. Ясно, откуда сигналы.

У подъезда за скамейкой, источая тяжёлые алкогольные пары, лежало тело в знакомой бабНюриной жёлтой кофточке...

 Не возитесь, бесполезно – сердобольно сказала проходящая женщина. – Второй день пьёт. Отлежится и пойдёт домой.

Где, в какой книге читала: «Несказанная тяжесть опустилась на её душу...»?

Дома, вздохнув, включила компьютер. Полезла в интернет узнать, хорошее ли подсолнечное масло купила. Собственно, с этим и шла к бабНюре. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Запустила первый попавшийся на ю-тубе мастер-класс.

– Так вот, пирожочки мои... Тут ведь кто как болтает. Что если на дне в бутылке растительного масла бултыхается муть – значит натуральное. Кто наоборот: мол, негодное масло, плохая фильтровка, просрочка, прогорклость. А я так считаю, пирожочки вы мои...

Знакомый голос с хрипотцой. Колдующие над столом морщинистые руки. Очки на кончике носа. А вот и Бабнюра своей персоной, в знакомой кухоньке что-то химичит со строго и значительно поджатыми тонкими губами!

Я захлопнула ноутбук и полетела к Бабнюре: меня разрывали тысячи идей. Отредактируем текст, раскрутим, назовём «Мастер-класс Бабнюры»...

Бежала со всех ног, мелькали фонари, дома, кустарники, скамейки... Под скамейкой у подъезда, укрытый штопаной цыплячьей Бабнюриной кофточкой, спал Николай.

ОЖЕРЕЛЬЕ ЮДИФИ

Зойка искоса глянула в бронзовое овальное зеркальце: несчастное, с красными надбровьями, опухшее от долгого рёва лицо. В последний раз вздохнула прерывисто, тройным вздохом. Основательно, трубно высморкалась в хозяйкину кружевную сорочку от Фретте – не забыть бросить в корзину для грязного белья.

Вот так вот. Снова стирка, готовка, глажка, уборка. Человек предполагает, а бог располагает. Предполагалось, что Зойка со всем зажитым барахлишком, с приятно тяжёленьким свёртком, вшитым в трусики (заработанное за год), сядет сегодня в поезд восточного направления – и ту-ту! До свиданьица, Юдифь Савельевна, и у нас имеется личная жизнь. Друг сердечный вышел по УДО (условно-досрочному освобождению), стосковался, засыпает СМС-ками. Подкопят с Зойкой деньжат, построят домок, заживут...

В эти самые минуты Зойкин поезд в клубке рельс отыскал свои, родные – и из столичной душной тягостной маеты птицей вольно рванул по России-матушке. А она вот осталась, белугой ревёт на хозяйкиной кровати, и суждено ей, видно, до скончания века обмывать-обстирывать Юдифь Савельевну.

Говорили ей: упаси бог идти прислугой к этим, в подмосковные особняки за кирпичными оградами. Особо к бывшим актрисам: хуже малых детей, капризные да нудные. Но с Юдифь Савельевной, нечего бога гневить, жить было можно.

Чудная: на «вы» разговаривала. Платьев надарила – сколько посылок двоюродным племяшкам Зойка на почту перетаскала – не счесть. После уборки по углам пальцем не шоркала, пыль не собирала. Не проверяла на честность, не подкидывала сторублёвок. За стол без неё, без домработницы, не садилась. А сколько разных историй пересказала – Зойка то ухахатывалась, то слезинку смахивала.

Смотрят вместе телевизор, Юдифь комментирует: «Оленька в этой роли не очень, не раскрылась... Юрочка как сильно играет... Видела его в Доме отдыха с женой — постарел» — это о знаменитых артистах! Самой Юдифи её поклонники телефон обрывают — пришлось отключить. Есть у старой актрисы внучка — души в бабке не чает, ещё бы: бабка — живая легенда. Настрого запретила внучке разбалтывать дачный адрес — жизнь ведёт самую уединённую. А то прознают, где живёт — телевизионщики набегут, папарацци замучают.

А Зойка любила что попроще: например, сериал «Альф». В фартуке, с тряпкой, поставит между ног ведро с водой и трясётся от смеха над прикольным космическим пришельцем, похожим на игрушку из уценённого магазина: нелепую, в грязно-рыжей свалявшейся шерсти – не игрушка, а пылесборник.

Она шагала по посёлку, дивясь, задирая голову на дворцы среди высоких сосен. Заходило солнце, стволы горели ровными медовыми, янтарными, розовыми свечечками. На обочине сидела бабка в обвисшей поношенной футболке и пузырящихся спортивных штанах. На плече, как манто, висел огромный пушистый кот (соседский, потом выяснилось). Бабка страшно, хуже извозчика, материлась.

Это и была живая легенда, ослепительная кинозвезда тридцатых-пятидесятых, в узких кругах звавшаяся Юдифь Прекрасная: орденоноска, заслуженный работник сцены, народная артистка ЭСЭСЭСЭР... А материлась она на ворону, которая разорила синичкино гнездо. Ворона, не обращая внимания на отчаянные пикировки птахи сверху и на многоэтажный мат снизу, сидела на ветке, шамкала, роняя на землю крошечные хрупкие скорлупки, капая нежным тягучим желтком...

Живая легенда была носата и худа, как та ворона. Это потом Зойка увидела Юдифь с высоко взбитыми, переливающимися дорогим старинным перламутром волосами, в мехах, в украшениях... будь они прокляты.

Украшения хранились в тайнике. Зойка обнаружила нычку нечаянно: под диваном тёрла плинтус, пыхтела, энергично вращательными движениями выколупывая грязь, забившуюся в выемку от сучка. А оказалось – не сучок, потайная кнопка. Вылез на пружинах ящичек, а там...

Вот показывают в сказках ларцы – а в них слепящие глаза, брызжущие искрами самоцветы: большие и малые, гранёные и гладкие как яйцо, опутанные витками тяжёлых тёплых жемчужных бус – вот здесь то же самое.

Зойка сразу крикнула хозяйку. Юдифь – лицо каменное – ящичек водворила обратно, а вечером откровенно поговорила с Зойкой. И Зойка, заплакав от чувств и оказанного доверия, торжественно крестилась, целовала крестик: что никогда никому ни полсловечка...

Потом Юдифь частенько уже при Зойке вынимала ящичек, раскладывала сокровища. Будто засыпая, прикрывала тяжёлыми тёмными веками глаза, вспоминала: кто подарил, когда. Зойка слушала разинув рот, развесив лопухами уши: тысяча и одна ночь. Браслет с изумрудным жуком (в цвет глаз) Юдифь получила в день рождения в тёплый июньский вечер. Играли в фанты, много танцевали, много пили шампанского – в бокалы залетал тополиный пух. Легли под утро, а утром – война...

Эту рубиновую розочку – правда, не отличить от настоящей, чуть увядшей? – Юдифь обнаружила в корзине с живыми розами.

Под конец со дна ящичка извлекла узкий футляр. Из взбитого бархата вынула, приложила к груди такое... неописуемое! Тончайшее кружево, сотканное из мириад дрожащих огоньков – как росяная паутина на солнышке. «Это ожерелье одно стоит всего ларца. Раритет, девятнадцатый век. На бенефис доставили из ведомства Лаврентия Берии».

И вот – исчезло ожерелье. О котором знали только хозяйка и Зойка. Всё на месте, а шкатулки с ожерельем нет. У Юдифи страдальческое недоумение прорезало в белом лбу жирную морщину, гнев и отвращение перекосили лицо.

– Зоя, из дома ни шагу. Вы под домашним арестом. Я заявила в милицию, у меня там большие связи. Пока заявление положили под сукно. Установлены видеокамеры, с вас глаз не спустят, сорока вы воровка. Хотела же отнести в банковскую ячейку, как чувствовала... Одним словом. Найдётся ожерелье – в ту же минуту вон отсюда.

Зойка, припоминая облитые глубоким презрением слова, горестно покачала головой, при этом голова у неё забряцала гребнями и заколками. Зойкины пальцы тоже постукивали громадными фальшивыми перстнями, которые она завела, подражая Юдифи. Она вообще многое у неё переняла: волосы закалывала в высокий пук, брови выщипывала дугами, толсто накладывала на лицо ночной крем.

При уборке и мытье посуды «перстни» приходилось каждый раз снимать. Но в магазин за продуктами или, допустим, к столу Зойка непременно их нанизывала и сидела, оттопырив мизинцы, как какая-нибудь графиня. Юдифь называла Зойку «мумбо-юмбо» и новогодней ёлкой. Приходила в ужас, вздымала брови:

- Зоя, это подделки, стекляшки! Это пошлость, наконец!

Но ведь пошлость не может быть красивой... А у Зойки, которая пять лет не толкалась в галантерейных отделах, от великолепия, подсвеченного во вращающихся зеркальных витринах, перехватило дых. Глаза разбежались: хочется и того, и этого.

Пять лет не то что перстенька на пальце – часы и цепку запрещалось носить, разве что крестик на шнурке... Вот и дошли до щекотливого момента, придётся нам с Зойкой открыться. Ну да! да! сидела Зойка! И что теперь, живьём в землю зарываться?! Между прочим,

и в колониях люди с человечьими лицами встречаются, и есть которые ни за что сидят, и нечего строить поганые ухмылки.

Зойка и правда не поняла толком, как загремела на зону. Когда колхоз разорился, устроилась в райцентр кладовщицей. Ещё удивительно показалось: за плечами десятилетка плюс двадцать лет стажа скотницей – и сразу в материально ответственные лица.

Хозяин завёл трудовую книжку. Зойка как путёвая расписалась в трёх экземплярах трудового договора и ещё в пачке каких-то договоров. Хозяин чертыхался: бюрократию, мол, трудовики развели. А спустя месяц нагрянула ревизия: ваша подпись на бумаге? Вы обвиняетесь в хищении... В колонии Зойке объяснили: тебя подставой взяли, барашком.

Потом-то пришёл оправдательный документ: мол, произошла судебная ошибка. Пять лет были на исходе, и Зойка смачно определила место, какое она тем документом подотрёт... куда его засунет...

– Домработница – это своего рода директор домашнего хозяйства! – и в сторону, яростным шёпотом: – Домработница – это своего рода внутренний враг!

Советскую Золушку играла простенькая (на взгляд Юдифи, слишком простенькая) Светочка Карпинская, прелестное дитя. Фраза из кинофильма – вот, собственно, всё, что знала Юдифь о домработницах. Но пришло время, и проблема уборки дома подступила с ножом к горлу.

Согласиться на пансионат в Матвеевском – унизительно: Юдифь Прекрасная – и в актёрской богадельне?! Нанимать домработницу через агентство – ненадёжно. Убирать дачу самой, ломать миндалевидные ногти – не привыкла к этому Юдифь Прекрасная. Всю жизнь бытом звёздной родственницы занималась кузина, царствие ей небесное. Пыль и грязь тем временем копились, нарастали, мохнатились по углам, давили морально и физически, и мерзопакостно было браться за липкие засаленные ручки.

Как это часто бывает, помог случай. В конце зимы Юдифь ехала в дачный посёлок в автобусе (знакомым она говорит, что Союз кинематографистов выделяет ей для поездок машину, но пусть эта тайна останется между нами). Обратила внимание: укутанная кондукторша инструктировала напарницу – юркую женщину лет сорока, в мужской шапке, в клеёнчатой курточке. Из часто произносимой фразы: «Это не у вас там на зоне», – было понятно, что прошлое новенькой далеко не безоблачно.

Некрасивая маленькая кондукторша не унывала. Она напоминала ребёнка, впервые вышедшего в большой мир: озиралась с любопытством, карие глаза сверкали от удовольствия, нос морщился, синие от холода губы разъезжались сами собой в улыбке. Свобода! Мужики!

Чёрт знает как, но она была во сто раз обаятельнее наряженных в шубки пассажирок. Те были похожи на принцесс, которые ехали себе в персональных хрустальных каретах, а кареты – бац! – превратились хуже чем в тыквы – в занюханный быдловский общественный транспорт!

Кондукторша смерчиком пронеслась по салону и мигом навела порядок: пристыдила школяра и усадила на его место беременную девушку. Подмигнула водителю. Поцапалась с тёткой – но необидно, с шуткой-прибауткой, и сама расхохоталась. Улыбка маленькой кондукторши, как магнит – железные опилки, притягивала ответные улыбки. В салоне точно поселился весёлый вирус любви.

Как Юдифи был знаком этот вирус! Когда она появлялась в дверях: всегда в светлых одеждах, с сияющими перламутровыми волосами, с ласковыми лучистыми глазами – а брови бархатные, строгие, – все взгляды обращались к ней. Разве что дочки именитых режиссёров и сценаристов отворачивали надменные личики. Но сам кинематографический небожитель со стружечно-жёсткой дымчато-сизой шевелюрой шёл навстречу, склонялся, тугими резиновыми губами присасывался к прекрасной руке...

– Дама, очнитесь! Пенал потеряли! – Пеналом кондукторша обозвала французский лакированный, в благородных трещинках клатч, который Юдифь уронила на пол. А в клатче –

портмоне, ключи, документы. А могла, между прочим, незаметно ножкой задвинуть под сиденье и потом выпотрошить, когда все пассажиры выйдут...

Начальница отдела кадров долго искала в сейфе Зойкино личное дело:

– Юдифь Савельевна, я вас уважаю как великую актрису... Но вы хорошо подумали: брать домработницу с судимостью, пусть и со снятой? Хотя, с другой стороны... – задумчиво потрясла мелким шестимесячным перманентом. – Взять моих девчат-кондукторов, все имеют хороший навар – это помимо кассы. К каждой контролёра не приставишь, верно, мы уж с этим смирились. А Зоя сдаёт самую большую выручку, копейки не возьмёт.

Знаете, с чего она первый рабочий день начала? Взяла тряпку и ну драить автобус внутри и снаружи до блеска, до скрипа, каждую щёлочку вылизывает. Весь парк сбежался, пальцем у виска крутят: «За мойщицу работу делаешь». А она пот со лба ладошкой смахивает и хохочет: «Подумаешь, меня не убудет!»

Давайте так. Полгодика я за ней понаблюдаю, подержу под колпаком. Не запятнает, не уронит себя – ваша. Хотя жалко мне её отпускать, честное слово. Где нынче такую кристальную честность найдёшь? Исключительно из уважения к вам, как мой папа поклонник вашего таланта... Автограф, пожалуйста.

После исчезновения ожерелья жизнь внешне продолжалась по-прежнему. Понурая Зойка убиралась, готовила обед, крутила бельё в машинке. Юдифь за обедом снова и снова пытала:

– Зоя, признайтесь. Может, вы примеряли ожерелье без меня? Нитка порвалась, камни рассыпались. Вы испугались...

Зойка откладывала ложку, слёзы капали в суп. Хлюпала носом: «Может, воры залезали, пока ходила в магазин?»

— Зоя, не лгите. Про тайник не знает никто. Его устроил последний покойный муж-краснодеревщик. Вы что-то говорили про жениха-колониста... Если он сделал вас сообщницей...

Ближе к ночи Юдифь Савельевна запиралась в спальне, а может даже баррикадировалась креслами от Зойки и Зойкиного возможного сообщника.

В этот вечер дверь закрыть забыли. Сквозь щель в коридор выбивался мягкий розовый свет ночника. Зойка лежала с открытыми глазами – какой там сон. Розовая полоска под дверью мешала заснуть. Встала, поплелась в туалет – брызнуть рассольчиком. Проходя мимо спальни Юдифи, краем глаза глянула в щель. Присмотрелась... Не поверила глазам, отшатнулась. Снова заглянула...

Домашнее платье хозяйки лежало на спинке стула. Сама актриса, в одной батистовой сорочке, сидела перед трюмо. Встретилась в зеркале Зойкиными глазами, ахнула, прикрылась... Машинально, тихо расстегнула замочек на шее и уронила на колени руку. В руке – кружево из дрожащих огоньков...

Посидела некоторое время, изумлённо пожимая над самой собой плечами. Вышла вслед за Зойкой – а что ещё оставалось делать? Статуей встала в дверях, наблюдая, как Зойка мечется, заталкивая как попало одежду в сумку.

— У нас на зоне западло... За такое крысятничество... Эх! Вы же для меня как не знаю кто, как звезда недосягаемая были... То-то смотрю: который день глухое платье надеваете... Вон вы какие дамочки: хуже, чем на зоне последние вафлёрши, лоханки! Надо же так меня отминехать!

Когда слова и выражения у Зойки иссякли, Юдифь безнадёжно, тускло заговорила ей в спину: как она одинока, одинока... Как привязалась к Зойке и не знала, как её оставить, чтобы не уезжала. И – решила у себя самой украсть ожерелье. И чем дальше, тем больше запутывалась и увязала во вранье, и чувствовала себя мышью в мышеловке... – Так говорила Юдифь, в ниспадающей пышной сорочке, с распущенными струящимися волосами.

– Дездемона, блин. В театрах зрителям вздрючивайте мозги! Ничего, внучка приедет, с ней играйте в свои прятки.

Внучка, да... Получила завещание на дачу. Ждёт – не дождётся, когда бабка подохнет. А как невыносимо одиночество: оно пожирает человека, равнодушно не спеша перетирает, хрустя челюстями. Телефон кажется присевшим для прыжка, притаившимся, злорадно наблюдающим из угла зверьком. Хоть бы один звонок за полгода! Юдифь не вынесла страшного живого молчания, отключила пластиковую холодную тварь – навсегда.

...Выходить на улицу только затем чтобы выгулять шубу: мездре полезен мороз и сухой снег. Мечтать, чтобы рядом была живая душа, да... хотя бы тот же Альф. Пускай вонючий, невоспитанный, пускай пришлось бы прятать от соседей... Зоя, что это? – вдруг слабо жалобно заговорила Юдифь. Она оседала, цепляясь за косяк: – Кажется, у меня отнимаются ноги. Я их не чувствую, Зоя...

– Притворщица, – процедила, не оглядываясь, Зойка. – Ак-трис-ка!

Спустя четыре года дачный посёлок разросся на целый микрорайон. Для гуляний вокруг дач выложена брусчатая дорожка. Каждый день в одно и то же время появляется пара: низенькая женщина в платочке, шаркая стоптанными тапками (зимой — валенками), везёт инвалидную коляску: импортную, лакированную, на бесшумных мягких рессорах. В коляске очень прямо сидит красивая седая дама в шубе, в шляпе с вуалью. Они молчат, уйдя каждая в свои мысли.

ОПАНЬКИ – РАЗОПАНЬКИ

Все нормальные люди выгуливают собак и кошек – только Алка выгуливает старую бабку. Как-то она даже видела на улице то ли юркого хорька, то ли крысу на шлейке. Для полноты эффекта юная хозяйка крысы нарядилась под старуху Шапокляк: крошечная шляпка-«таблетка» с вуалькой, чёрная юбка метёт воланами асфальт. Прикольненько!

Но в основном всё же выводят собак. Ещё недавно – огнедышащих, капающих слюнями громадных псин. Они жарко пыхтели как паровозы и таскали за собой хозяев на поводке будто пушинок. Нынче в тренде мелкие, комнатные породы.

Мать с отцом объясняют: люди поумнели, научились считать денежку. Прокорми-ка такого телёнка! А воды на него: выкупать, лапы помыть, еду приготовить – расходуется как на человека. А счётчики кру-утятся, кру-утятся.

По мнению Алки, декоративные собачки — это клёво. Они потешно дрожат и глазасто выглядывают из-под мышек, из сумочек, из карманов, из-за пазух. Их небрежно забрасывают на плечо как манто, перекидывают через руку, прижимают локтем, целуют в мордочку. А они только беспомощно сучат спичечными ножками в мягких всамделишных башмачках.

А уж наряжают! Прямо показ собачьих мод, только вместо подиума – местный городской парк. Комбинезоны из норки, бархатные штанишки, кружевные жилетки и камзолы с золотыми пуговицами – у собак-мальчиков, прозрачные, в стразах, топорщащиеся юбочки-пачки – у девочек.

У Алки в их девичьем классе тоже повальная мода на маленьких питомиц. Только и разговоров о Мими, Жужу, Фуфу...

- А за сколько такую можно купить? робко поинтересовалась Алка у одноклассницы Рагозиной. Рагозина, в красных серёжках, пожала плечиком:
- Ну, не знаю... По-разному. Мы нашу Буську заказывали за семьдесят тысяч... А она возьми и раздери коготками кожаный диван за миллион. Мама сказала, что накажем Буську на море не возьмём. Оставим на Фирузу, домработницу.

Это была другая жизнь, другая планета, другой недосягаемый уровень. Другое измерение. Море, домработница-азиатка, диван за миллион.

Итак, Алка тоже выгуливала: только не розово-голубую игрушечную собачку с медовошоколадными глазами – а родную парализованную бабку.

Бабку шандарахнул удар прошлой зимой — думали, не выкарабкается. Лежала бревном и только внимательно следила за всеми из своего угла, ворочала глазами. Потом села на диване, свесив куриные ножки. Потом стала кататься по квартире в коляске, мешая всем. А весной и вовсе запросилась на улицу. Но отпускать её одну опасно — и к ней приставили Алку.

Алка негодовала. Запиралась в ванной, лупила кулаком по кафелю, в знак протеста швыряла зубные щётки, тубы с гелем и шампунем. Орала, что скорее покончит с собой.

Что, бабка на балконе не может свежим воздухом подышать?! Её, Алку, на помойке нашли, да?! В лом сиделку нанять?! Куркули, жадюги, всю жизнь над копейкой трясутся, смотреть противно. И так её, Алку, в классе считают отстойной. Оря, сорвала голос.

Папа легко выломал хлипкий шпингалет – не зря на двух работах вкалывает. Мама присела на край ванны. Прижимала к себе, гладила сипящую Алку по жидким потным кудряшкам.

Знаешь, доченька, сколько стоит сиделка? Без штанов, с голым задом останемся. А у нас кредит. А мы лучше сделаем вот что. Накопим денежку и выдадим тебе как бы премию за бабку... Чего ты хочешь, доченька?

Алка, горестно вздыхая, утёрла кулаком распухший нос-картошку. Задумалась. Съездить на море? Купить красные серёжки как у Рагозиной? Купить шелковистую собачку?

– Собачку так собачку. Сама понимаешь, *после того*, *как*... – она приглушила голос и покосилась в сторону бабкиного дивана. Что, Алка маленькая, что ли, сама всё понимает. Когда бабка помрёт.

Раньше бабка, мамина мама, жила в другом городе, была изредка, наездами. Алка мало что помнит. Помнит твёрдые тёплые ладони, подбрасывающие и похлопывающие её по заднюшке. И кто-то над ухом приговаривает-напевает:

- Опаньки-разопаньки, голенькие попоньки!

Ещё бабка ласково называла маленькую Алку «Прудонюшка». За то, что та всё время писалась: прудила. Вот такая ласковая бабка. Однако переезжать и нянчиться с внучкой на постоянной основе не спешила. Видите ли, работа у неё. Подумаешь, важная птица: библиотекарша-пенсионерка. Легко быть добренькой, когда раз в год приезжаешь тетёшкать, хлопнуть внучку по голой попке.

Вот зачем мама забрала бабку к себе? Жила бы та себе в своём городе.

– От греха подальше, дочь. Знаешь, как она захворала, сразу разные племянники и племянницы вороньём слетелись. Не ровён час, уведут квартиру из-под носа.

Квартиру мама сразу сдала жильцам. Какая-никакая копейка капает. Начнёшь жить самостоятельно, дочь — опять же свой угол имеется. Поэтому ты должна быть благодарна бабушке.

Алка не хотела быть никому благодарной. Не надо никаких квартир: ей в своей розовой спаленке уютно. И вообще, она не просила, чтобы её на этот свет рожали. И чтоб записывали по блату в английскую школу. Училась бы в нормальном классе с нормальными ребятами – а не с этими задаваками и воображалами. Ах, Пуся! Ах, Абу-Даби!

А всё мама. Она работает фельдшером в медпункте блатной школы. Прекрасно делает внутривенные инъекции: попадает в вену толстухам директрисе и завучам как по маслу, с первого раза. Ставит капельницы, делает шейный массаж, мерит давление. И всегда у неё имеется в стеклянном шкафчике медицинский спирт и нужные таблетки от головы и живота – незаменимый человек.

Упросила, вымолила, выплакала элитное местечко для дочери.

Из квартиры Алка вылетела красная, разъярённая, натягивая на ходу курточку. Бабка громыхала ходунком позади – Алка и не подумала её ждать.

Называется, попросила родителей купить новый рюкзак. Она хотела пушистый, в стразах, как у Рагозиной. Старому уже три года: он позорно перекосился, обвис, разбух от учебников, потрескался – полный отстой.

Родители по этому поводу устроили целый семейный совет-экспертизу. Крутили Алкин рюкзак так и эдак, только что в микроскоп не рассматривали. Глубокомысленно цокали языками: можно подумать, речь шла о покупке тачки за миллион. Вечно они так.

- Дочь, но ведь добротная вещь ещё: носить да носить. Мы с папой в твои годы...
- Плевать, что вы с папой! Сейчас другое время! На фиг тогда было меня совать в этой долбаный класс? Я там самая стрёмная, хожу как эта...
- Доча, запомни. Прежде чем что-либо купить, задай себе вопрос: можно ли прожить без этой вещи?
- Ага!! Тогда на фиг мне два платья?! Можно и в одном ходить! А куртка зачем вон у бабушки фуфайка! И без туфель запросто перебьюсь: давайте по очереди ходить в лаптях!

Притопывая ногой от нетерпения, Алка ждала, когда приковыляет бабка. И обязательно той нужно в парк, от которого Алка бежит как чёрт от ладана. Там гуляют одноклассницы с Фифками и Жужками, фыркают над Алкой.

И непременно бабке нужно сесть на солнце, от которого у Алки покрывается веснушками и некрасиво облупливается лицо. Она оборвала подорожник, послюнявила, приклеила на нос.

– Ба, в кого они такие? «Потерпи, вот сэкономим, расплатимся с долгами, вылезем из ипотеки», – передразнила она родителей. – Только и слышишь: копить, копить, копить.

Бабка, в знак сочувствия, горячей, твёрдой рукой цепко сжала Алкину руку. Руки у неё сильные, разработались, опираясь на ходунки. А ноги плохо ходят и язык отказал. Напрочь. Молча смотрит на Алку преданными собачьими глазами.

Как ни странно, Алка скорешилась с бабкой. Намолчится в своём блатном классе до одури. Дома тоже: не с родителями же об ипотеке талдычить. Вот и даёт волю языку с бабкой. Даже хорошо: никто не учит жизни, не бесит. При этом та всё понимает. В нужных местах кивает и качает головой, сокрушается, утирает слезинки, морщит губы в улыбке.

Можно часами говорить, что взбредёт на ум — и никто не одёрнет: «Не болтай глупости». А когда надоест, надолго уткнуться в смартфон — бабка, закрыв глаза, послушно дремлет рядом. Можно строго прикрикнуть — а можно чмокнуть в дряблую щёку. По-хозяйски, самой выбрать маршрут прогулок. Хлопнуть в ладоши и ворчливо скомандовать: «Ну, хватит, ишь разгулялась! Влетит нам от матери, пора домой».

Блаженная улыбка, которую все считают слабоумной, не покидает бабкиного лица. Катится одинокая светлая слеза, ища выход в лабиринте морщинок.

Хотя лечащий врач говорит, что бабка ничего не соображает, а слёзы – это остаточное явление, рефлекс, увлажнение глаз. Физиология.

Бабка слышит врача, но не может возразить, только сверкает глазами и сердито трясёт седым чубчиком. На самом деле ей двенадцать лет: она вернулась и почему-то задержалась именно в этом возрасте. Может, это самый яркий момент осознанного детства?

Зимняя ночь. Село утонуло в синих снегах. Изба залита космическим голубым, лунным светом. Пахнет хвоёй: в углу посверкивает, позванивает ёлка стеклянными игрушками. Печь протоплена жарко: уснуть невозможно. Высоко в ледяном небе грозно, жутко, одиноким зверем воет реактивный самолёт. И в необъяснимой тоске сжимается детское сердчишко.

...Ранняя весна, ещё холодно и всюду лежит снег. А на дровянике кусочек лета: сухая и тёплая, прогретая солнышком крыша. Отец говорит: «Маленький Ташкент». Девчонки расчертили «классики», прыгают, толкая ногой набитую песком вазелиновую баночку.

Вот пришла настоящая весна: ослепительное солнце, по всему селу горланят петухи. А у Верки горе: уронила библиотечную книгу в грязную лужу. Прополоскала её под рукомойником, прогладила утюгом. Получилась серая тряпка.

Страшно идти в школу, библиотекарша заругает. Верка хныкает, что заболела, ей ставят термометр. А она хитрит: незаметно вытаскивает градусник из-под мышки и прижимает его стеклянную головку к раскалённому боку печи. Серебристая полоска вмиг взлетает к 42 градусам – и категорически отказывается стряхиваться обратно. Градусник треснул. Верка посрамлена, разоблачена.

...В гости приезжает старенькая мамина тётка и учит разным полезным вещам. Например, обнаруживает в чулане чёрный кусок гудрона: им отец сучит дратву для подшивки валенок. Тётка называет гудрон — варом. Откалывает кусочки: места сколов блестят, как чёрные зеркальца. Размягчив «вар» сливочным маслом, его можно жевать.

У Веры одна сестра и четыре брата. Тётка объясняет: парень – от слова «парить»: беречь, лелеять. А девки («депки») – отрезанный ломоть. Депки – щепки, парень – корень.

- Депки-щепки, депки-щепки! приплясывают братишки.
- Мам! бегут дочери к матери за защитой. А чего они дразнятся?
- Не щепки, не щепки, утешает мать. Тётя старорежимная, не слушайте её.

...В универмаг привезли золотоволосую куклу Лёлю. Девчонки стоят у прилавка как приклеенные. Не могут оторвать зачарованных глаз от коробки с красавицей, от её пышных золотых, с искрой, волос. Если потянуть за ниточку с пуговкой, торчащую из тёплой целлулоидной спинки, Лёля мяукнет: «Мя-мя!».

- Три рубля! в ужасе говорит мама. Что скажешь, отец?
- Деньги на ветер. Баловство. Сшей ты ей куклу, давно ведь девке обещала.
- Ага, сшей. У меня не десять рук. Тоже не баклуши бью.

Сейчас перепалка наберёт громкость, окрепнет. Зазвенит мамиными слезами, загудит отцовском раздражением, перерастёт в ругань. Вера поворачивается и уходит.

А наутро на подушке – кукла Дунька! А как ещё назвать тряпичную куклу? Болтаются несуразно длинные руки и ноги. Вместо волос: пришитый, разрезанный на полоски лапшой и связанный в косички старый чулок. На круглом лице химическим карандашом нарисована весёлая рожица. Ах ты, моя ненаглядная Дунечка!

В первую же баню рожица размазывается в красно-синее, как у пьяницы соседки, пятно... ***

А вот солнце припекает Верке макушку. Она стоит, прижавшись к воротам, сунув нос сквозь рейки. Всматривается в дорогу: не появится ли на ней самая родная на свете мамина фигурка?

Веру отвезли в лагерь сразу на две смены, чтобы не возиться. «Мам, ты ведь будешь приезжать?» – «Буду, буду», – рассеянно, озабоченно отмахивается мать.

В письмах Вера с надеждой напоминает про родительские дни, а также номер отрядного телефона. Девчонкам часто звонят – ах, как она им завидует.

Почему, почему родители не звонили? Понятно: большое хозяйство, маленькие дети. Но ведь можно, когда идёшь в сельпо за хлебом, заскочить на почту? Пятнадцать копеек – и разговариваешь полчаса. А так Вера будто детдомовская...

Или это у них в крови деревенское, крестьянское равнодушие и грубоватость? Телячьи нежности, баловство...

Вон внучка Алка дуется на родителей – а ведь никакого сравнения. Мать-отец вьются вокруг неё, как большие планеты вокруг маленького солнца. В лагерь устраивают – каждый вечер после работы набьют сумки сладостями – и к дочке. По телефону сто раз в день созваниваются.

Ой, Алка, видела бы ты, как росла баба Вера. Зимним утром встают – окошки во вспученных толстых наростах льда. Печку истопят – лёд тает. У детей обязанность – ходить с резиновыми грушами и всасывать лужицы с подоконников, чтобы не натекло на пол. Потом процесс модернизировали: стали привязывать бутылки с опущенными в них тряпочками: по ним вода стекала в ёмкости.

Сейчас Гордон ведёт телепередачи про многодетные семьи, про дома без удобств. Бьёт тревогу: нечеловеческие условия, переселить в благоустроенную квартиру... А тогда считалось нормальным, все так жили.

Сядут за стол – мать взболтает гоголь-моголь из двух яиц. Нет, не каждому – на шестерых ребятишек. Порежет чёрный хлеб на тонкие длинные ломтики – макайте, смакуйте лакомство. Яйца копит в корзинке под кроватью: на продажу.

Салат покрошит – одна картошка, от силы несколько помидор. Помидоры тоже на продажу.

Земля на огороде бедная, тяжёлая, убитая: суглинок. Унавозить бы её хорошенько, чтобы пожирнела, отмякла. Но у родителей в голове не укладывалось, как это: за дерьмо деньги платить?!

Полдень, солнце жарит как в стихотворении у Некрасова. Вера, взмахивая тяпкой, находит силы смешить младших:

- Зной нестерпимый, равнина безлесная, Грядочки-грядки Да ширь поднебесная— Солнце нещадно палит. Бедная Вера из сил выбивается, Столб насекомых над ней колыхается, жалит, щекочет, жужжит.

Мимо по переулку идут соседские дети с яркими надувными кругами. Весёлую шумную компанию возглавляет Ирка, крупная, кудрявая, по-городскому одетая дочка завуча. Мама высовывается из-за забора, осклабляется: «Ирочка, купаться пошли? Ай, молодцы! Правильно, вон жара какая».

- Мам! пользуясь случаем, напоминают о своём существовании дети, можно, тоже на пруд?
 - Окучивайте давайте! К вечеру вода в пруду нагреется сходим.

Вечером прохладно, комары зудят, пруд пустеет, песок остыл – уже и купаться не интересно. Мать с отцом берут мыло, вехотки – чтобы заодно помыться и не ходить в казённую баню (20 копеек взрослый билет, 15 – детский).

Детство чем хорошо? Что ребёнок, как тварь Божия, радуется тому, что даёт день. Изо всего делает игру.

Сидит ребятня на грядке, режет лук. Август, сухо, уютно трещат кузнечики. Лука навалено – горы, детей из-за них не видно. А у них руки и языки без устали работают. Верин класс в школе «проходил» Ивана Грозного, и она осталась под большим впечатлением.

– А давайте, будто это казнь прекрасных девиц. Сначала палач обрезает волосы (взмахом острого ножа отсекается пучок корешков). Потом кожу снимает (очищается шелуха). Потом на плаху и – мой меч, твоя голова с плеч!

Отделённая от перьев золотистая крупная луковица катится в корзину, к сотням «голов» несчастных обезглавленных красавиц. Мелкий лук миловали: зашвыривали в углы огорода. Вот и не заметили, как гора лука почищена. А из зелёного пера мама пирожков испечёт.

Казнить быстро надоедало – начинались анекдоты. Или мечталки: кто бы заказал какую еду, окажись у него волшебная палочка. Лучше всех придумал маленький брат:

– Хочу, чтобы вся изба была наполнена очищенными подсолнечными семечками! И шипучей водой «Буратино»! Нырну с печки с головой – и ем-ем, пью-пью!

В городе, куда они выбираются несколько раз за лето, стоят автоматы с газировкой. Помотавшись по магазинам, дети просят пить. Мать выуживает из кошелька мелочь. Один только раз детям досталась газировка с апельсиновым сиропом за три копейки. Божественный напиток, нектар, который, должно быть, пили боги на своём розовом Олимпе! А говорят, бывает ещё с двойным, с тройным сиропом?!

Больше она никогда не покупала душистую воду: баловство! От сладости ещё больше пить хочется. Бросала в щель автомата копейку. Стакан, бурля, наполнялся прозрачной как лекарство, даже на вид горьковатой жидкостью. Одна радость, что рот и нос щекочут пузырьки. Как ни мучила детей жажда – больше глотка этой гадости сделать не могли. Мать, запрокинув голову, жадно допивала сама.

– Ещё хочу торт! – мечтательно скажет кто-нибудь.

Видела бы Алка советские торты! Никаких в них не было Е 216, Е 324, слыхом не слыхали про эмульгаторы, улучшители, загустители, ускорители, консерванты – всё живое.

Верин класс водили в столовую на экскурсию. Кондитерши при них наполняли конусы мягким, взбитым сливочным маслом (красители только натуральные: петрушка и свёкла). Выдавливали розовые цветочки в зелёных листиках, выводили по краям узоры. Красота нечеловеческая, неописуемая, слюнями изойдёшь!

Вот только красоту ту есть было абсолютно невозможно. Как говорят, тюрьма крепка, да чёрт её хвалит. Увенчивающий бисквит пышный розарий – клумба из нагромождения натурального подслащённого масла. Съешь жирную розочку – вторая в горло не лезет. И, пока взрослые не видят – копаешь, как мышь, торт с уголка, обгрызаешь подальше от приторных цветков. Но и тут бисквит щедро, от души проложен толстыми масляными прослойками. Эх, нет гармонии в жизни!

Вера читала вслух «Денискины рассказы» — малышня переполнялись возмущением. Зажрался Дениска, с жиру бесится. Как можно выплеснуть манную кашу за окно?! Тающее во рту, обволакивающее, нежное манное объедение! Мама варила только серую ячневую крупу. Манка — баловство. Дорогая, пустая, несытная еда. Деньги на ветер.

Впрочем, был и в их детской жизни праздник желудка: один раз в год, в июне, когда садили картошку. Поле большое – работы на весь день, каждая пара рук ценна.

Чтобы мамина пара рук была свободна от готовки обеда — она отправлялась за едой в столовую. Дети знали заранее, что будет принесено. Благоуханный оранжевый рассольник — в большой кастрюле. Котлеты и рассыпчатая гречневая каша — в кастрюльке поменьше.

В предвкушении королевского обеда откуда силы брались! М-м... Как они смаковали, как растягивали процесс поглощения пищи!

- О, ты уже весь рассольник съел а у меня ещё полмисочки.
- Счастливый! Махнёмся на две ложки гречки?
- Лучше на полкотлеты!
- Нашёл дурака!

Как подбирали кусочками хлеба обалденную – язык проглотишь! – подливу! Подлива: обжаренная мука с томатной пастой. Мама бы сделала её за три минуты. Но не делала: баловство! Потеря времени, потеря денег. Ещё приучатся дети к соусам, подливам – от простой пищи носы будут воротить.

Однажды отец подарил маме платок, на нём цветы как живые. Чтобы не выгорел, она носила его наизнанку, пряча яркую красивую сторону внутрь.

– Придёт время – выверну лицевой стороной.

Носила долгие годы, время всё не приходило. А потом постирала – и платок полинял. Так и не порадовала ни себя, ни людей теми цветами.

А как Вера с сестрёнкой мечтали научиться музыке! С благоговением проходили мимо старого пианино в школьном зале. Иногда решались приоткрыть крышку и тронуть расстроенную клавишу...

Сёстрам снились одинаковые сны: как садятся за инструмент, кладут растопыренные пальцы на клавиатуру... Чудесная музыка извлекается сама собой и льётся, и рвётся ввысь, таща с собой две маленькие, замирающие от восторга душонки.

Тут как раз молодой сосед-учитель купил пианино своим дочкам. Дважды в неделю специально приезжала из города учительница музыки. Вера с сестрой умоляли родителей, на колени вставали! Можно же было как-то договориться, на две семьи проводить репетиции...

Но этот вопрос родителями даже не рассматривался. Казался чем-то фантастическим, как, скажем, просьба о полёте на Луну.

Часть сэкономленных денег мама с папой держали в сберкассе. Иногда оба садились за стол, надевали очки, раскрывали голубенькие книжечки. Что-то подсчитывали столбиками, какой-то процент.

Другая часть отложенных денег, как догадывалась Вера, хранилась дома в кубышке. Иначе почему их семейные поездки к тётке в соседнюю деревню превращались в «шпиёнский детектив»?

Первой делала вылазку мама – как будто в продмаг – а сама шмыгала на автобусную остановку. Следом – не компанией, а с промежутком, шли один за другим дети. Операция «Конспирация».

Им настрого наказывали: кто спросит куда — мол, к тётке в гости. Подчеркнуть: без ночёвки. Туда и обратно. И обязательно добавить: «Папа остаётся домовничать». А папа, заперев избу, крадучись, огородами поспевал, чтобы впрыгнуть в отходящий автобус. Смешно: будто родители играли в странную игру, как маленькие.

На что копились деньги? Ради чего проводилась эта жесточайшая экономия? Это, в прямом смысле, держание детей в чёрном теле?

Вера уже поступила в институт. Однажды обронила в разговоре с квартирной хозяйкой, что её семья купила «жигули».

- С шестью детьми?! Простые люди, не начальники? В жизнь не поверю!

Небось, поверила бы, узнай, что в Верином детстве манная каша была пределом мечтаний. Жили в основном на картошке. Вот и Вера выросла похожей на картошку: мешковатая, коренастая, приземистая, с серой шероховатой кожей.

И до слёз жаль родителей. Не обида – нет, недоумение и боль за потерянную, погашенную, обесцвеченную, ущемлённую часть детства. Не оттого ли она всю жизнь проходила, ссутулившись, втянув голову в плечи?

Чем объяснить жгучую родительскую мечту: во что бы то ни стало купить автомобиль? По тем временам это было как купить экваториальный остров. Или так проявились крестьянские гены: безлошадная семья – ущербная семья?

Лошадь (машина) — свидетельство достатка, лада и крепости в семье, не хуже чем у людей. Даже лучше. Недосягаемая игрушка, розовая мечта, как для Веры — златовласая кукла Лёля.

Отец, выбивая те «жигули» в районных кабинетах, объяснял: шестеро детей, разъедутся по институтам, потом переженятся, родят внуков. Автобусное сообщение плохое – а он их будет встречать на железнодорожном перроне.

Так вот какая идиллическая картинка грела душу родителей. Когда-то потом, в светлом будущем, богато встретить детей, невесток, зятьёв, внуков. Обдав пылью, прокатить по сельским улицам. А пока — перебьёмся, потуже затянем пояса.

Отец был уже пожилой, когда сдавал на права. Выезжал считанные разы, машина в основном стояла в гараже. Прошли годы. Верин брат сказал: «Пап, чего ей гнить? Перепиши на Димку». Димка был его взрослый сын.

Димка сразу сдал «жигулёнок» на лом, а себе купил иномарку. Всё. Вера видела этот скукожившийся кусок ржавого хлама: вот в заклание чему было брошено детство шестерых детей.

Для себя решила: буду стараться жить одним днём. Ещё в студенчестве прочитала у классика: «Человек припасает себя надолго, а не знает, жив ли до вечера будет». И ещё запомнила, из другой книги: «Балуйте детей – ведь вы не знаете, что их ждёт».

Но вот у дочери на лице знакомое, значительное, жёсткое выражение. Цедит: «Обойдёмся. Сэкономим – заживём. Накопим – уж тогда...».

Вера беспокойно двигается в своей коляске. Судорожно впивается скрюченными пальцами в подлокотники: того гляди лопнет кожа на костяшках.

– Баб, ты чего, какать хочешь?

А она неимоверным усилием шевелит одеревенелыми губами. Безъязыко давится, мычит, заклинает: «Не копи... Не копи. Не копи-и!».

Дочь осекается, они с зятем переглядываются. Зять недоверчиво присвистывает: «Ни фига себе, великая немая ожила!». Алка визжит и скачет козой вокруг коляски:

 Бабушка заговорила! А что я вам говорила: она всё понимает! А вы не верили! А она заговорила!

ХЭППИ ЭНД БАБКИ АВГУСТЫ

Бабка Августа была простушкой не по годам.

Все ее подружки, тоже которые с небольшой пенсией, давно пристроились в разные места. Одна, например, по великому блату работала уборщицей в церкви. Там свора таких же злобных старушонок яростно возила швабрами по полу, лебезила перед молодым священником, у которого из-под рясы торчали джинсы, шипела на любопытную молодежь, грызлась между собой... Весело жили. Не везло лишь бабке Августе. А ведь жизнь бабка прожила — дай Бог каждому. Во-первых, пятьдесят четыре года назад Августу с ее носиком-огурцом и репутацией блаженной, чуть не дурочки, выдали замуж за здорового работящего парня в соседнюю деревню — и раньше старшей сестры, красавицы Агнии.

Всего у Августы народилось девять детей. В живых остались двое: дочушка и сын. Как ни жалко было, а в голодном году все б сами померли. Любимца, сынка Борюшку, тоже потом Бог прибрал. Простудился мальчонка, бегая по двору в дырявой обувке, и на Покров схоронили – сгорел нутряным огнем. По весне, когда во дворе сошел снег, Августа, воя, исползала, исцеловала жаркими губами вытаянные в черной весенней земле прошлогодние следышки от Боренькиных ножек.

Неведомая сила, подымавшая в то время многих деревенских, перенесла в город и небольшое Августино семейство. Ее взяли уборщицей при магазине «фрукты-овощи». Муж тут же работал грузчиком. Круглый год были при фруктах-овощах.

Началась война. Туго пришлось бы Августе с дочкой, кабы не бачки с овощной ботвой, с фруктовым гнильем. Они все это перебирали, отмывали, варили густое вонючее пюре – выжили, слава тебе, Господи.

Мужа на войне убило. Августа сильно горевала. Но подоспели иные заботы: Валькино замужество хотя бы. Мужиков после войны негусто было. Дочь Валька росла груболицая, длинноносая, но характером не в мать: нахрапистая, злая, чего хочет, того добьется. Скоро она привела с завода, где сама работала, тихого тощего паренька Витьку с фанерным чемоданчиком. Занавесились на полкомнаты, составили вместе две раскладушки и стали спать не расписавшись. Это мало беспокоило Августу: она Вальку знала. Как дочь забрюхатела, сразу пошли в загс.

Народилась внучка Олюшка, в которой Августа души не чаяла. В то время она подрабатывала уборщицей при том же овощном магазине, и еще ездила в дальний район мыть подъезды в многоэтажном доме. Но бабку уломали: дала согласие походить за Олюшкой годикдругой. Все бы ничего – жалко, Августа теряла прикормленное место. Но и это можно было потерпеть, потому что Олюшка росла сущая умница и красавица. Зять Витька ей тоже очень даже нравился: скромный, уважительный.

Потом все пошло наперекосяк. Витька что-то загрустил, начал попивать и, непутевый, кончил тем, что стащил у соседей телевизор. Он спрятал его в картонную коробку под раскладушкой и лег спать. Утром его забрали в участок. Горевала по нему одна бабка Августа. Олюшка была еще несмышлена, а стервоза Валька сразу оформила развод и выскочила замуж за нового хахаля (Августа сильно подозревала, что из-за ихнего давнишнего хахальства и грустил Витька).

Новый зять Колька привередничал. Ему не нравилась бабкина каморка в бараке, не нравились составленные вместе раскладушки. Самое нехорошее: зятю Кольке начинало не нравиться, что у Вальки уже есть Олюшка. Как на грех, Олюшка росла бойкой, языкастой, вечно в неподходящую минуту попадалась Кольке на глаза. Девчонку держали в невиданной стро-

гости. Она мыла полы и посуду, стирала, бегала после школы в магазины и помогала бабке возиться с годовалым Димкой.

Когда Колька принимался поедом есть Олюшку, у бабки будто в груди что-то подымалось и каменело от жалости. Бабка Августа не выдерживала, вступалась. Но ее сразу отправляли спать на ее место под бараний тулуп под стол. Бабка хитрила: приподнимая краешек тулупа, зорко следила одним глазом за происходящим.

Колька выговаривал жене:

– Ты ее не лупишь.

Бесстыдница и сволочь, Валька отмалчивалась.

Не лупишь, – продолжал Колька, – а – лупить следует.
 Распустилась донельзя.

Бабка, сморкаясь, подавала из-под тулупа глухой голос:

– Ак она и так вам все делат. За што лупить? Девка всех обстирыват. Ты, Валька, рази за Димкой штанки стирашь?

Очень скоро у Вальки завелось свое постельное белье, не в пример бабкиному – тугое, отливающее синевой. Колька-павлин заимел дюжину рубашек, а к рубашкам – пестрые галстуки. Все добро Валька запирала в шифоньер и ключ прятала.

Потом им от завода дали квартиру, бабка Августа осталась одна. Кряхтя и держась за поясницу, опять взялась за швабру.

Но тут от племянника из Кривого Рога пришло письмо умоляющего содержания. Оба они с женой были ученые, росла у них дочка Людочка, и еще скоро ждали ребенка. Племянник был родным сыном Агнии, которая сидела на пенсии, но мамашу в няньки не приглашал: знал ее золотой характерец.

Маленькая, как куколка, ужасно воспитанная сноха понравилась Августе. И квартира тоже понравилась. В комнатах с высокими лепными потолками было гулко и полутемно, как в церкви.

Долгожданную гостью сноха с почестями повела в казенную баню, потом только, брезгуша, выкупала с пахучим шампунем в ванне. Потом выдала, как в больнице, байковый халатик и показала ее угол за отодвинутым книжным шкафом.

Все шло как нельзя лучше, только однажды сноха услышала, как бабка за шкафом рассказывает Людочке историю в лицах. Мол, жил у них в деревне старик по прозвищу дед Огурец, и была у него длинная зеленая борода. Ребятишки искали у него в бороде, и он за это давал им копейку. Бабка Августа тоже искала и однажды принесла вшей на себе, за что ее излупили дома. Людочка хохотала и спрашивала, что такое «излупить» и просила нарисовать вошку, «ну хоть самую малюсенькую».

Воспитанная сноха пришла в ужас. Вечером она рассказывала об этом мужу. Тот гудел что-то примирительно, и бабка с благодарностью думала, что племянник очень похож на ее непутевого Витьку, ни за что гниющего в тюрьме.

Все опять шло хорошо до той поры, пока сноха не опросталась вторым младенцем. По истечении некоторого времени она показала бабке кастрюльки, стерильные пузырьки и ускакала в свой этот институт. Вернувшись вечером, сноха обнаружила, что у младенца рот обметало коричневой коростой. Приехавший в неотложке врач осмотрел и сказал, что это засохший черный хлеб. Его бабка нажевала, завязала в тряпочку и сунула младенцу в рот.

Вечером виновато притихшая бабка слушала за шкафом, как хрупкая воспитанная сноха орет мужу:

– Кошмар! Месячному ребенку! Соображать надо!

Бабке было не совсем понятно: у них в деревне новорожденному всегда такой жвачкой рот затыкали – если, слава Богу, хлеб был. И Августу командировали обратно. Бабка не держала обиды на сердце. А сноха на прощанье подарила платье.

По приезде в родной город произошло большое событие. Дочь Валька и зять Колька нагрянули, засуетились, перерыли бабкин сундук, насобирали ветхих желтых бумажек... И через какие-нибудь полгода бабка, как вдова участника Великой Отечественной войне, вселилась в заоблачную высь, в однокомнатную квартиру на семнадцатом этаже: с лоджией, ванной, облицованной узорной плиткой, и прочей неописуемой благодатью. Сто раз бабка покаялась, что обзывала Вальку бесстыжей и сволочью. И Колька оказался очень даже душевным человеком.

Августину же каморку Валька, сторговавшись, продала Агнии. Она должна была тетке полтысячи с незапамятных времен, и сама не рада была, что заняла, Агния ей житья не давала, и даже Валька, поднаторевшая в решении жизненных проблем, тут перед ней пасовала. Вместо денег и сунула ей камору: жри, подавись. Агния сожрала и осталась довольна: сразу впустила в камору жильцов.

Приходила Агния в новую бабкину фатеру пить чай, грозила с завистью:

– Гляди, неспроста б Валька...

Накаркала, старая ворона.

Не успела Августа нарадоваться, не успела отбить поклоны Богу и собесу, как в первый же выходной пришли чужие люди.

Стали, задирая головы, осматривать потолки, посапывая, скоблили ногтями обои, заглядывали на лоджию, в туалете спускали воду, принюхиваясь. Бабка Августа, сложив ручки на животике, испуганно следовала за ними. Даже она, несмотря на житейскую глупость, догадалась, что это — насчет обмена.

Сразу после их ухода прилетела Валька. Была необычайно ласкова, кошкой облизала матери все лицо, тарахтела о пустяках, и все: «Мамочка, мамочка»...

Скоро бабка с ее нехитрым скарбом перебиралась в Валькину, уже четырехкомнатную фатеру. Болело сердце, чуяло: ох, недолго потерпит Валькина шикарная фатера ее, бабкино, присутствие. Немного утешала предстоящая встреча с Олюшкой. Но оказалось, что Олюшка учится на инженера и мыкается, сердечная, при живых родителях по чужим людям. Выжил зять Колька Олюшку.

Сначала дочь с зятем старались бабку не замечать. Это было нетрудно делать: бабка Августа свое присутствие свела до минимума, невидимой стала и неслышимой. К старости ведь опытным становишься: всему научишься, и тенью ходит.

Как-то Валька с мужем не поладила. Сидела с красным злым лицом и на прошуршавшую мимо бабку зашумела:

– Еще она тут ползает. Весь дом провонял старушечьим.

Бабка Августа ушла, сморкаясь, и затаилась еще глубже. Агния при встречах стала настойчиво звать к себе: мыслимо ли дело, эдак человека со света сжить недолго. Бабка, сморкаясь, собрала узелки и ушла к Агнии. Валька в дверях сунула двадцать рублей.

Прошел ровно год с того дня. В Вербное воскресенье сестры вышли из церкви: обе с букетиками освященной вербы, с умиленными лицами. Поехали домой – трамвайная линия рядышком с церковью проходила. Бабка Августа пошла прикупить у трамвайного водителя пачку билетов. Подслеповато сунулась в кабинку – и отшатнулась, закрестилась, сделалась сама не своя.

– Ба-атюшки, – говорит, – трамвай-то без водительши. Куда это мы катим, а?!
 Пассажиры засмеялись.

- В преисподнюю прямым ходом, бабуся! крикнули с задней площадки.
- Вагон-то прицепной, не видишь? рассердилась Агния. Срамота от тебя на людях!

Августа не успела разобрать, что к чему: кто-то налетел на нее, чуть с ног не сбил, крепконакрепко обхватил, зацеловал, в самое ухо залепетал:

Бабулька моя расхорошая, посмотри на меня! Не узнаешь?

Живая-невредимая после стольких лет разлуки, любимая внучка Олюшка стояла рядом. И раскрасавица светлая была такая, что бабка зажмурилась, заслезилась, седенькой головкой затрясла. Олюшка заливисто колокольчиком смеялась, тормошила ее и не умолкала, сыпала вопросами.

Сказала Августа, что живет, слава Богу, пенсию от государства получает. Вдвоем с бабушкой Агнией хорошо живут, чаи пьют с кекосами (так бабка кексы называла), дай Господи другим такого житья. Строга Агния, что правда то правда, зато и порядок у нее во всем, все чинно, все как следует.

Потом ее черед настал Олюшку расспрашивать. Только сейчас, безглазая, заметила детскую колясочку, а в ней младенца, да такого расхорошенького, темноглазого, розовенького. Улыбается младенец беззубым ротиком бабке Августе. Про отца спросила – оказывается, в армию призвали, служит. «По папке соскучились, да, Витек, да, мой сладкий?»

К матери в четырехкомнатную квартиру Олюшку ни за какие коврижки не заманишь. А работает она технологом на заводе, живет в общежитии с подругой, тоже которая с ребенком («Драма у нее,» – тихонько сказала).

Шумно живут: когда малышня в две глотки загорланит, хоть уши затыкай и вон беги – зато весело. Друг дружке во всем помогают... Да, чуть не забыла: отец (Витька-непутевый, значит) наведывается частенько. Женился, про тещеньку свою бывшую, бабку Августу, все спрашивает.

Августа, забывшись, твердила:

- Слава Богу, милая, слава Богу. Ты счастлива, и я подле твоего счастья погрелась.

Олюшка, прощаясь, ее в гости звала. Обещалась сама забежать, как время будет. Вышли все из трамвая...

Идет Олюшка по аллее, высокая, светлая вся, чисто солнышко, коляску толкает. Нетнет, да и обернется, рукой в перчатке помашет. Потом уже пошла не оглядываясь, и Витеньку с собой увозит... У бабки в груди оборвалось, точно вот в последний раз внучку видит. Не ведая, что делает, не слушая ругань Агнии, засеменила вслед.

Олюшка, – кричит, – Олюшка!

С утра две молодые мамы убегают на работу. А у Августы полон рот хлопот. Не шутка – два мальца на руках, один горластей и буянистей другого. Бабке оба хороши, только ненаглядный раскрасавец ангел Витенька, милее всех на свете.

Бабку научили варить детские смеси, а уж остальное: покормить, постирать, спать уложить – это для нее дело знакомое. Жалко, малы еще, а то житейские истории рассказывать бабка великая мастерица.

Больше всего ее радует, что она из своей пенсии нет-нет, да и выкроит на подарочек: Олюшке косынку узорную рублевую, правнуку Витеньке – погремушку завлекательную. Олюшка поворчит для виду, а бабке и ворчанье Олюшкино сладко.

Вечером бабка вернется из гостей от комендантши, чаю напившись, посмотрит телевизор – и спать ложится на раскладушку, вынесенную за неимением места в кухню.

«Слава тебе, Господи, – думает бабка, крестя тощую грудь. – Есть, есть Бог на свете. Лишь бы подолее сил хватило».

Жизнь бабки Августы завершает традиционный хэппи энд.

БАБКОКРАТИЯ

- На днях кондуктор в автобусе мне заявляет: «Вы по пенсионному удостоверению?» Неужели я так плохо выгляжу?!
- Прекрасно выглядишь, утешают знакомые Лену. Этим кондукторшам все на одно лицо.
 - Да-а, вздыхает Лена, а в аптеке тоже первым делом: «У вас пенсионка?»
- Элементарная бабья зависть. Прикинь: они там все бледные, квёлые, лекарствами нанюханные. И тут входишь ты: вся из себя цветущая, ядрёная, кровь с молоком. Конечно, от зависти.

Лена – без пяти минут пенсионерка. Вот-вот вступит в возраст дожития – по недвусмысленному намёку государства.

Ну почему так? Когда с годами в человеке выкристаллизовываются проблески мудрости, кое-какого опыта — в организме, ровно пропорционально, накапливаются мерзкие болячки. Нервы изношены в страстях, которые — сейчас понимаешь — выеденного яйца не стоили. У кого-то зашкаливает давление. У кого-то прокуренные дырявые лёгкие с хрипом качают воздух. У кого-то печень вымочена в дрянном спирту.

И кидаешься запоздало, лихорадочно себя ремонтировать. Завязываешь курить и пить, садишься на диету, выписываешь газету «ЗОЖ». В еду, по совету Елены Малышевой, обильно включаешь лук и чеснок: чистят сосуды. Потом ходишь, благоухаешь. Но – «у женщины, от которой плохо пахнет, нет будущего» (не дословно, сказал кто-то из французов).

Об этом Малышева не думает. Или думает: какое может быть будущее у пенсионерки с пенсией 7 тысяч рублей? С точки зрения государства — человеческий навоз. Слабо утешает, что прежде чем превратиться в навоз, успеешь побыть овощем, растением. Баклажаном или розой. Лучше розой. Хотя родным всё равно, кем ты себя, восседая на судне, воображаешь: баклажаном ты или розой. Растение, оно и есть растение.

Лена служила в музее при ликёро-водочном заводе. Каждое добропорядочное предприятие должно иметь свой музей истории: с чёрно-белыми и цветными фотографиями, с грамотами и дипломами, с вымпелами и ценными подарками.

Их завод – не исключение. У каждого музея – своя фишка. На ликёрке, разумеется, это бутылки. Разных конфигураций, цветов, размеров и годов выпуска.

Как во всех музеях, здесь тоже борются за посещаемость. Проводят мероприятия, например, «Ночь в музее». Сгоняют студентов, зажигают свечи, чтобы по стенам колыхались тени. Лена рассказывает байки о замурованных в винных погребах купцах. Об утопленных в чанах, но не выдавших профессиональных секретов виноделах и пивоварах. О бесследно исчезнувших в подвалах экскурсантах, о привидениях и прочей чертовщине...

Лена в прошлом комсорг, у неё два высших образования. Ей мучительно неловко, неудобно ломать эту комедию. Но – планы, посещаемость...

Вообще, Лене хотелось бы служить в музее благородных вин: с настоящими легендами, с рецептами изготовления... Такие вина пьют, любуясь драгоценным рубиновым или аметистовым оттенком. Вдыхают сложный букет, вобравший аромат солнечных виноградников. Смакуют редкую вкусовую гамму, звенят тонким стеклом бокалов, произносят изысканные тосты.

...«Вздрогнули!» «Поехали!» «Понеслись!» «Жахнули!» «Чпокнули!» «Дерябнули!» «Ну, желаю, чтобы – все!»

Какие напитки – такие и тосты, и восклицания, и собеседники (собутыльники). Какая история может быть у сорокаградусной водки – грубо говоря, разбавленного спирта, ещё грубее – легализованного государством жёсткого наркотика? Утренние сотрясения унитаза, цир-

роз, мордобои, поножовщина, грязные окровавленные трупы... Питьё не для услаждения, а для оглушения башки, чтобы забыться от беспросветной жизни.

Укутанная в кофточку и шаль (холодрыга жуткая!), Лена последние дни досиживает на своём рабочем месте. На её место назначена продвинутая девчонка из культпросвета. Уж она будет лихо проводить «ночи в музее», не пряча глаза и не блуждая вымученной улыбкой.

Из огромного, во всю стену, продуваемого окна виден город в промышленных морозных дымах. По шоссе ползают букашки и червячки машин и автобусов. От города до ликёрки проложена серебряная берёзовая аллея, густо усеянная чёрными точками. Это табунами гуляют бабки, бывшие заводские работницы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.